



А. З. ШТЕЙНБЕРГ

Берега и безбрежность

(К философии истории А. И. Герцена)

«От нас зависит быть современными»...
«С того берега».

С какого берега доносится до нас голос Герцена? Отплыли ли мы от *того берега*? Пристали ли к новым берегам? Или мы по-прежнему, как и пятьдесят лет тому назад, все еще в пути? Откуда и куда? — Вот вопросы, на которые настойчиво требует ныне ответа от всех нас бурная современность, вопросы, которыми жил и на устах с которыми умер А. И. Герцен, пророк неведомого мира грядущего, провозвестник Евангелия смерти миру старому, навсегда оставшийся загадкой для самого себя.

Прежде и после всего Герцен был философом истории; до конца жизни гегельянская закваска его юности не перебродила в нем; но *философия* истории сливалась для него с исторической *жизнью*, а историческая жизнь — с событиями современности; на события же эти он откликался со всем пылом своего горячего сердца; так драматизм истории стал судьбою его личной драмы, а философия Гегеля превратилась для него в — «алгебру революции».

Вот почему мы, удостоившиеся «посетить сей мир в его минуты роковые»¹, больше, чем когда-либо, должны еще

и еще раз передумать то, что перечувствовал чуткий к отдаленнейшим грозам грядущего вдохновенный мыслитель, мыслитель, для которого мыслить значило жить, а жить значило бороться и жертвовать — всем, «но не отвагой знания».

1 января 1855 года Герцен писал своему сыну в посвящении к книге «С того берега»: «Не ищи решений в этой книге,— их нет в ней, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только начинается». Философствуя об истории, Герцен не решал, а только разгадывал «заглавные буквы общественного процесса», но тем самым он и «двигал массой к совершению судеб своих». В этом особое величие философии истории Герцена: он ясно и отчетливо знал пределы своего знания и всю беспределность своего незнания, и чем резче он очерчивал свой кругозор, тем внушительнее были образы, которые зоркий его глаз различал на краю горизонта, тем действеннее были его прозрения; чистое гегелианство затерялось в библиотеках и под архивной пылью — а от Герцена пошли в России народничество, марксизм и русская революция.

Что же знал Герцен и чего он не знал?

Герцен сочувственно цитирует слова М. Н. Карамзина²: история — «вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капля радостных и море горестных слез». Быть может, даже, говорит он от себя, природа «похоронивши род человеческой, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною». Вечное повторение, «беличье колесо», «вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение, perpetuum mobile маятника», corsi e ricorsi* старика Вико³ — вот чем представляется Герцену история человечества, особенно в ту пору его жизни, когда Россия мерещилась ему только, как «едва заметная полоска на востоке, намекающая на дальнее утро», история, течение которой неотделимо от развития природы, незаметно переходящего в развитие человечества, и составляюще-

* Взлет и падение (*ut.*).

го с нею «две главы одного романа, две фазы одного процесса, очень далекие на закраинах и чрезвычайно близкие в середине».

«Вечное движение в одном кругу», «вечное повторение» — не эта ли головокружительная мысль почти на наших еще глазах свела с ума Ницше?⁴ Возможна ли еще после этого какая-либо философия истории, такое бы то ни было постижение ее смысла, если бессмысленность — ее первая предпосылка. Возможно ли философское проникновение современности, больше того — горячий к ней интерес и действенное к ней отношение, если, как говорит Герцен в другом месте, «предел всего живого — смерть?»

Но строгий и нелицеприятный разум Герцена, «бесщадный, как Конвент», бесщадный к собственным своим соблазнам в себе самом находит противоядие против яда пессимизма и последнего отчаяния. Разум прежде всего означает созерцание, и в истории философии близнецом Гегеля навсегда останется Шеллинг. Две идеи спасают Герцена: реалистическое понимание закона, позволяющее наряду с общим высоко ценить частное и индивидуальное (здесь Герцен непосредственный предшественник Лаврова⁵), и кроме того, это частное и индивидуальное сохраняет для него полное свое значение не только, как звено непрерывной цепи исторических событий, но и как внутренне и самодовлеюще-осмысленное явление чисто эстетического порядка⁶. Не следует бояться этого слова: истинное своеобразие Герценовской философии истории в том и заключается, что теоретический реализм (даже натурализм, как мы сейчас увидим) в ней органически слит с энергической этикой и с тонким ароматом благородного эстетизма.

Прежде всего понятие закона. В наше время методологического возрождения устремлений немецкого идеализма многое может нам показаться само собою разумеющимся и даже банальным. Но надо вспомнить, как далеко было поколение Герцена от творческого развития этих устремлений, как легко было Марксу «перевернуть» Гегеля, чтобы по необходимости искать объяснения

такой методологической зрелости Герцен в его личной судьбе: только мыслитель, для которого самая отвлеченная мысль кровно связывается с непосредственно окружающей его конкретной исторической действительностью, мог так бессознательно и в то же время так методически ясно мыслить.

Герцен видит, что тот неизбежный пессимизм, который проистекает от идеи вечного возвращения и который историю превращает — по слову Шекспира — в скучную сказку, рассказалую глупцом⁷, что пессимизм этот связан с слишком отвлеченным, схематическим истолкованием роли и значения закономерности и в истории и в природе. Между тем, единственным чисто логическим законом жизни является лишь сама жизнь и непрерывность ее движения. «В этом беспрерывном движении всего живого, в этих повседневных переменах природа обновляется, живет, ими она вечно молода». «Semper in motu»* — вот единственный ее закон; это — мысль, которая, как замечает сам Герцен, до пошлости известна: действительно — «все на свете преходящее». Другими словами, если остановиться на одной логике, на одних априорных предпосылках философии истории, то не останется ничего, кроме самого начала временности и ее непрерывности. Но тогда всеобщность закона совпадает с его пустотой: он всеобъемлющ, но и нем, потому что, охватывая все в целом, он нигде не соприкасается ни с чем в отдельности. Отсюда следует, что разум, нечувствительный к фактам, пуст, и, оставаясь чистым, он не перестает в то же время оставаться слепым. К счастью, жизнь имеет еще и «свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума». Вот чего не видят мудрые слепцы, слепые мудрецы. В том и заключается «демоническое начало истории», что она все еще не находитась досыта над наукой, которая только «мысль и теория».

В чем же, сущность мысли самого Герцена, которая больше, чем мысль, и шире, чем теория? Разумеется, — отвечает Герцен, — законы исторического развития не противоположны законам логики, но они не совпадают в своих путях

* Всегда в движении (*фр.*).

с путями мысли, так как *ничто в природе* не совпадает с отвлеченными нормами, которые строит чистый разум». И в другом месте: «...природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила все подробности на волю людей, обстоятельств, климата, тысячи столкновений». Вот в чем разгадка философии истории Герцена: она кроется в его натурфилософии, в его борьбе против самодержавия закона, не только в области общественной жизни, но и в жизни самой природы, в его переоценке значения закономерности вообще. Отношение между законами природы и ее жизнью то же, что между общим и частным вообще. Природа не есть вывод, сделанный из силлогизма. Она «ненавидит фрунт и бросается сразу во все стороны». Мы не только не знаем всей необходимой связи причин и следствий, но мы и не можем никогда ее узнать, потому что ее нет, потому что мысль о такой связи — лишь навязываемая природе собственная наша прихоть. «Будущего нет,— продолжает свою мысль Герцен в другом месте,— его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая». Невольно вспоминается наш современник Бутру⁸ с его учением о *contingence des lois**. Вот последняя причина того, почему между логической и практической сферой вечная пропасть.

Так подкопавшись под самую основу всякого фатализма в истории, под догмат механистической натурфилософии и беспредельное господство причинности, Герцен уже без опасения быть непонятным тесно связывает историю с природой. Превратив природу в некий роман приключений, он с легким сердцем включает в него и историю человечества⁹, как вторую его часть. Натурализм Герцена не позитивистический натурализм, а метафизический.

Человечество — дитя природы, но как сын похож и не похож на своего отца, так и человек, одаренный сознанием, похож и не похож на мать свою — природу. Но прежде, чем проследить, как дальше развивает Герцен свою мысль, вернемся еще раз к исходной точке.

* Случайные совпадения (*фр.*).

Казалось бы, что если бессмысленно вечное повторение, если жизнь народов при этом становится праздной игрой, потому что совершенно бессмысленно, как говорит Герцен, лепить, лепить по песчинке, по камешку, чтоб опять все рухнуло, и люди поползли из-под развалин и снова начали расчищать место да строить хижины изо мха, досок и упавших капителей, достигая веками долгим трудом — падения, то не в меньшей степени «есть что-то возмущающее душу и в такой философии истории», при которой место всеобъемлющего и всепожирающего закона уничтожения заступает играющий случай, слепой произвол, не ведающий, что творит, не разгаданный нами и темный для самого себя. Из льдов роковой закономерности Герцен как будто попадает в сугробы космического авантюризма. Но тут на помощь ему приходят более нежные струны его души, нежели его суровая отвага беспощадного знания — его гений поэта.

«Разве кремень прекраснее от того, что он долговечнее лилии?», — спрашивает Герцен. И он отвечает: «Неподвижная стоячесть противна духу жизни — она ничего личного, индивидуального не готовит впрок, она всякий раз вся изливается в настоящую минуту. От того каждый исторический миг полон, замкнут по своему, как всякий год с весной и летом, с зимой и осенью, с бурями и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, наполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежит ему». Зачем так неправильно ставить вопрос о целесообразности в истории? «Какая цель песни, которую поет певица?.. Звуки, звуки, вырывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту минуту, как раздались». «Для меня, — говорит он дальше, — легче жизнь, а следственно и историю считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения». «Главное, существенное все тут, на поверхности». А затем, будь это не так, как разрешили бы мы проклятый вопрос Достоевского о человеческих страданиях, которые когда-то кому-нибудь будут ко благу. «Неужели вы обрекаете современных людей на жалкую участь карнатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать?» Нет другой целесообразности, кроме целесообразности

без цели, той, которая со временем Канта стала центром и основой эстетики¹⁰. Из заколдованного круга времени Герцена освобождает красота. Что же до прогресса, то и он не цель, а лишь последствие. «Мы думаем, что цель ребенка совершенолетие, потому что он делается совершенолетним, а цель ребенка скорее играть, наслаждаться, быть ребенком». Конечно, и человек способен на развитие, но в этой своей способности он не превосходит быка, у которых вместилище больших полушарий мозга тоже станет со временем пространнее.

С двух сторон: и со стороны проблемы механистичности, и со стороны проблемы телеологичности философия истории Герцена находит свое обоснование в его философии природы.

Но, тесно связав природу с историей, Герцен не перестает видеть их существенные различия. Прежде всего существенно, что непрерывность самого жизненного процесса иная в человеческой истории, чем в истории естественной. В природе есть лишь одна непрерывность: непрерывность самого движения, или правильнее, самого голого времени; неотъемлемое же свойство исторической непрерывности — деятельная память». Вот почему основной категорией истории является сознание, а ее героями — с одной стороны, сознательный человек, *свободная* нравственная личность, гений, а с другой — полусознательные массы». Крайне интересно было бы проследить, как и в учении о гении и толпе Герцен не расстается с основной своей натурфилософской концепцией, как он народ и природу связывает в родовое единство, производит из одного корня, и в этом пункте почти вплотную подходит к материалистическому пониманию истории. Если для «нас», для сознательного меньшинства делать историю значит совершать подвиг, то для масс, которые «полны тайных влечений, полны страстных порывов», которые естественно влекутся «к неясным целям и безответственным действиям», это так же естественно, как пчеле делать мед. К сожалению, здесь за недостатком места мы должны ограничиться этим беглым упоминанием, тем более, что самым важным для нас теперь, как и для Герцена в свое время, в его философии истории, не ее отвлеченные основания, а ее конкретные приложения.

Герценовская философия истории сложилась более или менее окончательно на почве европейских событий вокруг [18]48-го года. Это было время вообще благоприятное для конкретных философий истории. Одновременно с Герценовскими статьями об этих событиях появился и Коммунистический Манифест. Но вот огромное различие между основоположниками марксизма и между Герценом. Маркс и Энгельс знали все: и прошлое, и настоящее, и будущее; Герцен же по своему видел прошедшее, более лично и с глубоким драматизмом ощущал настоящее, будущее же он только предчувствовал. Именно, поэтому, быть может, Маркс уже в истории канонизирован, тень же Герцена все еще с нами, и он — пророк еще не сбывшегося, но человечески ближе и родственнее нам.

«Кайтесь, господа, кайтесь! суд миру вашему пришел», — так возвещал Герцен свои новые иеремиады и с чисто библейской проникновенностью он продолжает: «Что делает священник, призванный к умирающему? Он не лечит его, он не возражает на его бред, а читает ему отходную. Читайте отходную, читайте смертный приговор, исполнение которого не по дням, а по часам». Бегите, спасайтесь, кто может, не оборачивайтесь назад — как бы повторяет он за апостолом. Старый мир с его застенками, тюрьмами, палачами, с его солдатами и священниками, с его полицией и судами, с его понятиями о праве и справедливости, с его религией и философией — этот старый мир рушится, погибнет и уже не воскреснет из мертвых. Горе нам, осужденным быть лишь мостом к будущему! (Не у Герцена ли подслушал это новоявленный Заратустра?). Человечество снова у крутого обрыва, у берегов, за которыми безбрежная стихия. Второй том всемирной истории захлопнулся, как некогда захлопнулся первый, когда на смену Риму в его катакомбах зазвучало новое *Слово*. Второй раз на пути странствий человеческих твердый материк уходит из под ног, и дух истории витает над водами. *Semper in motu!* Вечного движения не уймешь! Как ни любим мы старое, родное и знакомое, — не покрывав с ним, мы погибнем на старых берегах, потому что еще раз пришло великое землетрясение, мировой пожар,

исторический катаклизм — от которого бежать можно только в безбрежность.

Кто же идет на смену старому миру: античности, христианству, веку рыцарства и просвещения, веку красоты и идеализма? И с обычной суровой своей беспощадностью отвечает Герцен: варвары! Это — говоря словами современного поэта — они «грядущие гунны, что тучей нависли над миром»¹¹, тучей облекли исторические горизонты. И имя этому новому варварству: социализм! В этом отожествлении величайшее прозрение Герцена. Да, как некогда жалкие и невежественные христиане для просвещенных и утонченных римлян, так нынешние социалисты для сынов и наследников одряхлевшего мира — варвары и гунны. В этом самое верное предзнаменование гибели современной культуры, победы неведомой новой. Потому что «дикие германы в своей непосредственности были potentialiter выше образованных римлян». Правда, «цивилизация Рима была гораздо выше и человечественнее, нежели варварский порядок; но в его нестройности были зародыши развития, которых вовсе не было в римской цивилизации, и варварство восторжествовало, несмотря ни на Corpus juris civilis, ни на мудрое воззрение римских философов». И не в том беда, не в этом опасность. Беда, если бы варвары не оказались достойными самих себя, если бы массы, в которых еще звучит музыка самой природы и которые поэтому одни только и призваны творить великие перевороты, оказались сами зараженными духом культурной косности. Пускаясь вплавь с тонущего корабля современности, не будем спасать «беременную вдову старого мира». Из пены бушующей стихии должен сам собою родиться прекрасный в своей изначальной наготе и в своем блаженном неведении мир новый, грядущий.

Социализм победит, потому что он новое варварство, «варварство младенчества», и только так он может победить! А там? А там «дикая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории».

Вот она — эстетика вечного повторения!¹² Приятие жизни, как она есть, и истории, какой она не может не быть. Что же до нас, то наше мужество не должно нас покинуть и тогда, когда тот берег, от которого мы отчалили, окончательно скроется за горизонтом.

«Винить некого, не наша вина, это несчастье рождения тогда, когда целый мир погибает»¹³. Разве не можем мы и в безбрежности служить литургии красоте? От нас зависит быть современными.

1920

